

**Николай Лесков**

**Божедомы**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Л50

Л50 **Лесков Н.**  
Божедомы / Николай Лесков – М.: Книга по Требованию, 2012. – 238 с.

**ISBN 978-5-4241-2309-2**

Николай Семенович Лесков широко, объективно отразил в своих произведениях жизнь российского общества его эпохи - эпохи отмены крепостного права, пробуждения деловой активности масс, размежевания интеллигенции на разные идеологические "станы". Большое внимание уделял Лесков и русской старине, считая ценным для развития общества накопленный тысячелетиями народный опыт. Документальность многих его произведений сочетается с художественной выразительностью, психологической глубиной, яркостью языка.

«Божедомы» – ранняя редакция романа «Соборяне».

**ISBN 978-5-4241-2309-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Николай Лесков  
Божедомы

*И дал им власть чадами Божиими  
быти, верующими во имя Его.  
Иоан. 3. 1, г. 1, с. 12*

# I

Все вы, умершие в надежде жизни и воскресения, герои моего рассказа: ты, многоумный отец протопоп Савелий Туберозов, и ты, почивающий в ногах его домовища, непомерный дьякон Ахилла, и ты, кроткий паче всех человек отец Захария, – ко всем вам взываю я за пределы оставленной вами жизни: предьявите себя оставленному вами свету земному в той перстной одежде и в тех стужаниях и скорбях, в которых подвизались вы, работая дневи и злобе его.

Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старогородской соборной поповки. Это: отец протоиерей Савелий Туберозов, его вторствующий священник Захария Бенефисов и дьякон Ахилла Десницын. Все эти три лица составляли духовную аристократию Старого Города, хронику которого некогда думал написать автор этого рассказа, прежде чем получил урок, что для такой хроники ныне еще не убо прииде время.

И многоумный протопоп Туберозов, и кроткий паче всех человек отец Захария, и непомерный дьякон Ахилла – все они давно известны Старому Городу; всех их Старый Город знал со стороны достохвальной, и над скромными могилами их долго еще будут совершаться каждую Дмитриеву субботу мирские панихиды.

Мы не берем своих длиннополых героев от дня рождения их и не будем рассказывать, много или мало их таскали за волосенки и много или мало секли их в семинарии. Это уже со всякою полнотою описано другими людьми, более нас искусными в подобных описаниях, – людьми, евшими хлебы, собираемые с приходов их отцами, и воздвигнувшими пята свою на своих крохоборных кормильцев. Мы просто хотим представить людей старогородской поповки, с сокровенными помыслами тех из них, у кого были такие помыслы, и с наиболее выступающими слабостями, которые имели все они, зане все они были люди и все человеческое им было не чуждо.

Пора ранней молодости и юношеской свежести этих людей, так же как и пора их детства, до нас не касаются. Читатель может представить себе, что все эти годы наших героев протекли, как протекают эти годы у большинства людей русской духовной семьи, и читатель нимало в этом не ошибется.

То, что достойно внимания из жизни старогородских отцов, мы увидим из дневника протоиерея Туберозова, который составляет значительнейшую часть этих разбитых и потом сшитых на живую нитку литературных лоскутьев; а закрыв дневник отца Савелия, мы увидим своих героев на последней стадии их земного странствования и вондем последнему вздоху их у двери гроба.

Чтобы видеть перед собою этих людей в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу всего старогородского духовенства, отца протоиерея Савелия Ефимовича Туберозова, мужчиною, совершающим уже пятый десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом, плечист, с могучей широкою грудью, которая как будто говорит вам: *“обопришь на меня, ия тебя не выдам”*. Наперсный крест, украшающий эту грудь, прибавляет к этим словам: *“веруй, и ты спасешься”*. Отец протопоп тучен, но бодр, силен, подвижен и сохранил в замечательной степени пыл и энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже можно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого африканского льва, и белы, как кудри Олимпийского Юпитера. Они художественно поднима-

ются чубом над его высоким артистическим лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной, раздвоенной, как у того же Юпитера, бороде отца протопопа и в небольших усах, соединяющихся с бородою у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих этой бороде вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца-протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими эсами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, немного гордые и смелые. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорбей, и слезы умиления; но в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не малого, не суетного, не сварливого, а гнева большого человека. В эти глаза гляделась душа протопопа Савелия, которую сам он в своем христианском уповании считал бессмертною.

Захария Бенефисов, второй иерей старогородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь мало же занимает места и как бы старается не отяготить собою землю и его крошечное тело. Он мал, худ, тшедушен и лыс, как пророк Елисей. Две маленькие буколки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно; да и то это была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как *мышинный хвостик*. Вместо бородки у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки, ручки у него детские, и он их постоянно прячет в кармашки своего подрясника. Ножи у него, по сравнению того же дьякона, соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко, и то взглянут и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. Отцу Захарии почти столько же лет, как и отцу протопопу, и он так же, как и отец протопоп, при всех своих немощах сохранил живую душу, и бодрость, и подвижность.

Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые можно здесь привести для того, дабы он при помощи их сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына за его “великовозрастие и малоуспешие” из синтаксического класса, говорил ему: “Эко ты дубина какая протяженно-сложенная”. Ректор, вновь по особым ходатайствам принявший Ахиллу в класс реторики, удивлялся, глядя на него, и, изумляясь его бестолковости, говорил: “Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиною называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров”. Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из реторики и зачислении на причетническую должность, звал его “непомерным”.

– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, я слова против этого не имею, что хороший; словно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, и через эту непомерность я не знаю, как с тобой и обходиться.

Четвертое из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался “узвленным”, и так как это

название дано Ахилле лицом, значительно возвышенным над всеми, кто доселе снабжал этого дьякона от времени до времени различными кличками, то здесь совершенно уместно рассказать о том, по какому случаю ему стало приличествовать название “уязвленного”.

Дьякон Ахилла – человек в высшей степени смешливый и увлекающийся. Он не знал никакой меры своим увлечениям в юности, и мы будем видеть, знал ли он им какую-нибудь меру и к годам старости своей. Несмотря на всю “непомерность” баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это “увлекательностью”. Так, он во всеобщей никак не мог удержаться, чтобы пропеть “Свят Господь Бог наш” дважды, а непременно вырывался и в своем увлечении пел это один-одинешенек трижды, и никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые поэтому можно было предвидеть, против “увлекательности” Ахиллы благоразумно принимались свои благоразумные меры, избавлявшие от всяких напастей и его, и его вокальное начальство. Так, например, поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи; а наконец, не надеясь на это, Ахилла сам еще изобрел на себя “удерж” в виде сапожного шила, врученного им приятелю его тенору с поручением вонзать это оружие в него, Ахиллу, как только придет момент, в который он должен остановиться.

Но не даром сложена пословица, что на всякий час не наздравствуешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли уберечь, и он самым трагическим образом оправдал на себе то теоретическое мнение, что “тому нет спасения, кто в самом себе носит своего врага”.

В большой из двенадцатых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма интересное и, по его мнению, весьма хитрое басовое соло на словах “и скорбьми уязвлен”. Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушали Ахилле много забот не ударить себя лицом в грязь и отличиться и перед любившим пение преосвященным, и перед всею губернской аристократией, которая соберется в церковь. Дьякон Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по комнате, то по двору, то по городскому саду, то по улицам, распевая “уязвлен, уязвлен, уязвлен”, и наконец настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое “уязвлен” перед всем собором. Отошла обедня, задернута завеса врат, и начался концерт. Велик и сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла. Подходит и место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло “уязвлен”, и вот, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку и – удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: “И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-нн, уязвлен”. Силою останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в увлекательной голове Ахиллы, и вот среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословию аристократией, словно трубный глас с неба раздается: “Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н”. Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаждают вниз за спины товарищей, – он поет: “уязвлен”; его, наконец, выводят, он все-таки

поет: “у-я-з-в-л-е-н”. “Что тебе такое?” – спрашивают его с участием сердобольные люди. “Уязвлен”, – отвечает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха отрезвляет его напряженную экзальтацию.

Но кроме этой *уязвленности* и увлекательности, составлявших преобладающую черту характера дьякона Ахиллы, у него было и еще одно определение, еще одна кличка, даже вписанная ему в его официальный документ. В документе этом, в аттестате, выданном дьякону Ахилле из семинарии, он был аттестован “удобноносительным”; но основания для этой аттестации должны сделаться известными читателям несколько позже.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефисовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже минуло спартанское совершеннолетие; ему сорок лет, и по волосам его побежала седина. Роста он огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок; тип лица имеет несколько южный, на каковом основании и утверждает иногда, что дед его или прадед был из малороссийских казаков, а в другой раз, что он просто происходит из турок. Но родословная Ахиллы известна, и по ней известно, что он испокон веков ведет род от русских колокольных дворян, и род его южнее берегов реки Оки никогда не забирался.

## II

Жили все эти герои старомодного покроя на старгородской поповке над тихую и только лишь в полуию воду судоходною рекою Турицею. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии, так и у дьякона Ахиллы, были свои домики на Заречье, как раз насупротив высившегося за рекою старинного пятиглавого собора с высокими коническими куполами. Ближе около собора, по тот бок реки, старгородское соборное духовенство не могло устроиться потому, что старинный город, окруженный по сие время валами и остатками стен, был построен очень тесно, большинство домов этой части принадлежало или явным, или тайным раскольникам и не продавались. Туберозов с своими присными сел по линии, выселившейся за реку и прозванной Заречьем. Тут было и здорово со стороны свежести, и вольготно со стороны простора, и весело со стороны прекрасного вида на реку и на Старый Город, соединявшийся с Заречьем посредством плувучего моста.

У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краскою, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными, наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывающую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полососою глазета лежащий на его разделанный под паркет пол. В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядка у него некому. Он одинок с своей протопопицей, и это одиночество составляет одну из непреходящих скорбей его.

У отца Захарии Бенефисова домик гораздо больше, чем дом отца Туберозова; но в бенефисовском домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии

похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкнутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его, матушку Евфросинью, умножил яко Рахиль. У отца Захарии не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка; но зато здесь было двадцать детей, от которых все летело копром да в кучу. На всем здесь лежали следы детских запачканных лап; из всякого угла торчала детская головенка, и все это шевелилось детьми, все это пищало и пело о детях, начиная запечными сверчками и оканчивая матерью Евфросиньей, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!

Куда мне вас дети?

Где вас положити?

Дьякон Ахилла, в отношении домовитости, был совсем плох и, будучи давно вдов и бездетен, нимало не заботился ни о стяжаниях, ни о домостроительстве. У него была мазаная малороссийская хата на краю Заречья, но при этой хате не было никаких служб, ни заборов, кроме небольшой жердяной карды, на которой по колену в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. В доме Ахиллы тоже убранство было самое негустое: в чистой части этого помещения, где отдыхал сам хозяин, стоял деревянный диванчик с решетчатой спинкою. Этот диван заменял Ахилле и кровать, и потому он был заслан белую казанскою кошмою, а в изголовьи лежал чеканеный азиатский орчак, к которому была прислонена маленькая блино-образная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Перед этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкою и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной жила у него отставная горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансом или еще чаще Эсперанчиком. Это была особа маленькая, желтенькая, вострорылая, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила нигде места и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота, и самое крайнее раздражение своей служанки в самые решительные минуты прекращал только громовым: “Эсперанс, провались!” После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, зная, что иначе Ахилла посадит ее на крышу и продержит там весьма немалое время.

Все эти люди жили тихою жизнью, и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли небогатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая карманная протопопица чтит его и не слыхала в нем души; отец Захария тоже был счастлив в своем птичнике; не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гуляньи по городу, или в выезде и мене своих коней, или, наконец, в дразнении своей “услужавшей Эсперансы”.

Было бы, конечно, несправедливостью утверждать, что между обитателями

старгородской поповки никогда уж не было и ни малейшего повода к каким бы то ни было друг на друга неудовольствиям. Нет; бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют для нас многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и кто переносил их. Но все-таки мы просим извинения у любителей прямых картин с попами пьяными, с попами завидующими, с попами ненасытными и каверзливыми – попы нашей поповки были несколько не таковы, да и прощено будет часто обвиняемому автору этого рассказа, что он позволил себе поискать для своего рассказа о попах несколько иных поповских типов, а не тех, с какими принято знакомить общество при посредстве талантливых писателей, с которыми автор, впрочем, наискромнейшим образом старается избегать всякого состязания.

Споры старгородской поповки возникали всегда только по обстоятельствам свойств тонких и щекотливых, и одно из таких недоразумений свирепствовало даже весьма недавно, всего за год до того дня, в который отец Туберозов сядет противу нас за просмотр всего написанного им в своем дневнике. Так как характер этого события, то есть характер смущающих ныне поповку недоразумений, с чрезвычайною полнотою и ясностью определяет характер всех подобных происшествий на старгородской поповке, равно как вообще и характер всех взаимных отношений всех лиц этой поповки, то мы расскажем эту доселе никому не известную распрю, вследствие которой отец Савелий Туберозов до сих пор питает на дьякона Ахиллу некоторое неудовольствие, выражаемое со стороны отца протопопа тем, что он в течение целого года не шутит и не говорит с дьяконом ни о чем житейском, а ограничивается лишь одними служебными разговорами. Это очень тяжело самому протопопу Туберозову, потому что он не любит натянутых положений и любит дьякона Ахиллу, но еще тяжелее это простодушному дьякону Ахилле, который решительно не может сносить целый год продолжающихся холодных отношений к нему протопопа и который потому давно изыскивает всяческих случаев к восстановлению между собою и Туберозовым прежних теплых отношений, но никак не может напасть на благой путь, следуя которым, он мог бы надеяться овладеть потерянным благорасположением Туберозова.

Однако вожделенный день этот для дьякона Ахиллы уже не только занялся, но и истекает, и до наступления вечера сего дня, когда произойдет нечто способное положить конец протопопскому негодованию, мы едва имеем столько свободного времени, чтобы рассказать, из чего возникло самое неудовольствие протоиерея Туберозова на дьякона Ахиллу.

Событие это не лишено некоторого интереса и носит на себе следы своего местного, старгородского характера. Год тому назад отец Савелий Туберозов дозволил себе поступок, обсуждая который, довольно изрядное большинство просвещенных людей признали бы протопопа человеком мелким, завистливым, суетным и вообще человеком из разряда тех людей, которые давно должны быть для просвещенного человека не более, как сынове отрясенных.

Помещик и местный предводитель дворянства Алексей Никитич Плодомасов, ездивший год тому назад в Петербург, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки, и между прочим три священнические трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из

червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, а другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы.

Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули перед Фараона египетские кудесники. Не то чтобы кто-нибудь из старгородского духовенства был недоволен плодомасовским подарком и желал непременно лучшего; но...

– Сомнение, сомнение наведено этим большое, – рассказывал городничихе Порохонцевой дьякон Ахилла.

– Да в чем же тут, отец дьякон, сомнение? – спрашивала его удивленная городничиха.

– Ах, нет, Ольга Арсентьевна, вы этого не говорите! Пожалуйста, прошу вас, не говорите. Нет; нет, большое сомнение. Это, сколь я понимаю, все это ни для чего другого и сделано, собственно, как для вражды.

– Что вы, отец дьякон! Может ли быть, чтобы Плодомасов ссорить вас хотел?

– Да не Плодомасов, а враг-с. Помилуйте вы меня (дьякон выпятил вперед левую руку, закатил рукав и правую рукою заломив у себя назад большой палец левой руки, воскликнул): во-первых, мне, как дьякону, по сану моему посоха носить не дозволено, – это раз. Повторительно я его теперь ношу, – это два, потому что он мне подарен; а во-третьих, Ольга Арсентьевна, эта одностайность... Ах, вы не говорите, не говорите, это... это ужасно. Помилуйте... отец Савелий... Ну, вы сами знаете... умница... То есть что говорить – умница, – ну просто министр юстиции, ну, скажем прямо – не министр юстиции, а настоящий гиперборей, – а и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

– Да чем же он смущен, отец дьякон?

– А тем смущен, что все это смущение: во-первых, что от этой одностайности смешенность. Как это? Чья эта трость? Извольте разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но положим, на это бы можно заметку какую-нибудь положить, или сергучем под головкой, или сделать ножом на дереве нарезочку; но а что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностайны? Ну, отец протопоп, ну ведь сами его знаете, ну умница, гиперборей, министр юстиции, – и у него в руках будет точно такая же трость, как у отца Захарии! Помилуйте вы меня, сударья! Ведь это невозможно. Отцу протопопу не только в городе, а, может быть, и во всей епархии нет никого, кто бы противостоял по рассудку, а отец Захария и вышел по второму разряду, и дарований умеренных... Нет-с; нет: ему одинакая трость с отцом Савелием не принадлежит; нет, не принадлежит. И отец протопоп это чувствуют; я вижу, что они об этом скорбят; но ведь отца протопопа вы знаете... его никто не проникнет... Я говорю: отец протопоп, больше ничего, как на отца Захариину трость я метку положу или нарезку сделаю. – “Не надо”, – говорит. – Ну, – говорю, – я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей укорочу с конца ножом. – “Глуп, – говорит, – ты”... Ну, глуп и глуп, – не впервой мне это от него слышать, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен... Ах, как недоволен; ах, весьма не доволен... – Дьякон поднял вверх палец, как раз против лба Порохонцевой, и произнес: – И вот вы скажите тогда, что я трижды глуп, если он не сполитикует. Отец-то Савелий?.. Это уж я наверно знаю, что он сполитикует.

И дьякон Ахилла не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старогородскому соборному духовенству помянутых посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город.

Трудно было придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, будучи благочинным, частенько ездил в консисторию; а потому и действительно никто этой поездке никакого особенного значенья не придавал. Но вот отец протопоп, усевшись уже совсем в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

– А послушай-ка, отче: где твоя трость? Дай-ко ты мне ее, я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг осенило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крикнул и шепнул на ухо отцу Бенефисову: “Это политика!”

– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – спросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария.

– Для чего? А вот покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят.

– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.

– Так, может быть, и мою трость тоже? – спросил сколь умел мягче Ахилла.

– Нет; ты свою перед собою содержи, – отвечал отец Савелий.

– Что ж, отец протопоп, “перед собою”? И я же ведь точно так же... Тоже ведь внимания удостоен, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не удостоил его претензии никакого ответа и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захария, поехал.

Отец протопоп ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии.

– Ну, что тебе? Что тебе до этого? Что тебе? – останавливал Захария томящегося любопытством дьякона.

– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

– Ну, и сполитикует; а тебе что, ну и пусть сполитикует.

– Любопытен предвидеть, в чем сие заключается. Урезать он не хотел – сказал: глупость; метки я советовал, – тоже отвергнул. Одно, что предвижу...

– Ну, ну... ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

– Одно, что... драгоценный камень вставит.

– Да; ну... ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

– В рукоять.

– Да в свою или в мою?

– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень – ведь это драгоценность.

– Да, ну, а мою-то же трость он тогда зачем взял?

Дьякон ударил рукою себя по лбу и воскликнул: “Ах я неясить пустынная, сколь я, однако, одурачился!”

– Надеюсь, надеюсь, что одурачился, – утверждал отец Захария.

– Ничего, стало быть, теперь не отгадаешь!.. Но сполитикует; страшно сполитикует! – твердил дьякон и, ходя по своей привычке из одного знакомого дома в другой, везде заводил бесконечные разговоры о том, с какою бы это целию отец Туберозов повез в губернию обе трости?

Благодаря суете, поднятой дьяконом, дело это стало интересовать всех, и весь